

**ОЛЬГА КУЧКИНА**



**РУССКИЙ  
ВАГОН**

# Ольга Кучкина

## Русский вагон. Роман

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=31186678](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31186678)*

*ISBN 9785449049575*

### Аннотация

Этот роман написан в жанре травелога. Странный господин, русский по рождению и иностранец по гражданству, во время всего путешествия не снимающий своей черной шляпы, едет в поезде по Транссибирской магистрали через всю Россию. Удивительные вещи случаются с ним и с его попутчиками, включая любовь и гибель.

# Содержание

1	5
2	29
3	55
Конец ознакомительного фрагмента.	73

# Русский вагон

## Роман

**Ольга Кучкина**

*«В коротких, но определительных словах изъяснял, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии промыслов и разнообразия почв...»*

*Н. В. Гоголь.*

*Дизайнер обложки Валерий Николаев*

© Ольга Кучкина, 2018

© Валерий Николаев, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4490-4957-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# 1

Бурый шар солнца, прорвавший небесную холстину, всю в белесых лохмотьях, застыл там, в высоте, в своих владениях. Постояв немного, не обогревая, да почти что и не освещая землю, бурый шар снова скрылся, укрывшись обесцвеченной ветошью, и уж больше не показывался.

Россия лежала, заброшенная, дебелая, с холмами грудей, какая-никакая-всякая, скучно раскинув свои тела под нависшим скучным небом. Вот-вот должен был пойти снег.

Крис, люби меня, Крис!..

Крис, зачем ты так, Крис, не покидай меня!..

Будь ты проклят, Крис!..

Можно было подумать, что это – из младшего Тарковского. Но это было не из Тарковского. Просто имя одинаковое: Крис. Было – из меня. Всплыло и торчало. Так всплывает коряга в текучей речной воде и торчит независимо, манит загадочной загадкой, не исчезая.

Там – зримо. Тут – незримо. И повторяется с регулярной настойчивостью. В голове звенит? Если бы в одной только голове! А то в проживаемой реальности. Хотя что такое реальность? Кто это знает? Кто знает самого себя? А если и все неизвестно, откуда ты родом, как и когда появился на белый свет, и почему к тебе так прилипчивы женщины и мужчины, и что означают твои деяния, и с какой, в конце концов,

целью ты действуешь?

Скучный пейзаж примагничивается к тебе с такой силой, что не может не быть родным, и что-то замирает у тебя в районе средостения, и ты, с какого бодуна, как говорят здесь, сопливым мальчонкой себя ощущаешь, и ни с того, ни с сего мокреют твои давно сухие глаза. Что за сантименты, ровно почки на весеннем дереве выстрелили в этой поездке, а ведь зима, зима, сдается, что круглый год зима, и нет ничего в этом мире, кроме зимы.

Я не первый раз в этих широтах. Но всегда было коротко – сейчас длинно. Всегда набито делами – сейчас образовался досуг.

Крис, где ты, Крис? Не покидай меня!..

Требовалось усилие воли, чтобы прийти в себя. Но чаще всего никакая воля не помогала.

Я достал из кейса мой старенький IBM, открыл и кликнул последнюю выписку, которую сделал, готовясь к поездке.

*«... тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть, надоело это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним, не могу, ей-Богу, не могу, ведь и раньше, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть, а теперь, теперь злое уныние находит на меня, я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал...».*

На заснеженных станционных часах пробило четыре.

Снег летел параллельно земле. Белой пудрой припорошивало и без того похожую на белую моль девицу на билборде, кулачком подпиравшую бесцветное личико, с капризным призывом: *Dessange, создай мне настроение!* Какой, к бесу, Дессанж, как попал сюда рекламный щит, не совместимый ни с чем в этой глухомани, где в длину проживало ровным счетом две тысячи семьсот восемьдесят пять особей и в ширину столько же?

Пора было загружаться. Попутчики, галдя, как вороны, несмешно перешучиваясь и натужно пересмеиваясь, покидали перрон. Тут были *звезды* и *звездочки*, как они сами себя именовали, знакомые населению по ТВ и знакомые только своих знакомых, *элита* и граждане попроще, они и заходили с платформы в вагон по-разному, кто деловито, обыкновенно, ничем таким не заморачиваясь; кто, не забывая продемонстрировать себя даже и впотьмах, старательно откинув плечики и держа спинку, не стирая с лица клейкой улыбки; кто, съжившись, стараясь проскользнуть поскорее и понезаметнее, чтобы не помешать следующим, так же, как, старательно съжившись, проводили они годы и годы своей незадачливой биографии, тоже по привычке, но прямо обратной демонстрантам; кто по-хозяйски солидно и неторопливо, с благоприобретенной размеренностью и выработавшейся привычкой нести голову точно дорогой глиняный жбан, с непременным видом покровительства, уверенно занимая свое место наверху иерархии, где другие занимали внизу.

Я поднялся последним.

Купе было пусто. Очевидно, сосед сразу завалился в чье-то другое, и я знал, в чье.

Я отодвинул синюю шелковую занавеску, хотелось сказать: синий шелковый занавес, — сел и принялся глазеть в вагонное окно.

За чистейшим стеклом тронулись и поползли унылые пристанционные постройки, чахлые деревья, дальняя дорога, по которой передвигались игрушечные автомобильчики, жилое скоро стало пропадать, уступая нежилому, и вот уже одна беспредельная снежная равнина заняла господствующее положение, но все же попадались редкие далекие избы, в которых вспыхивали желтые огоньки, отдельные водонапорные башни и шахтные сооружения, и сумеречное серое небо сомкнулось с сумеречными серыми снегами.

Покинув Ушумун, двинулись к Тыгде. Как интересно расположилось название: Ты где?

Обычный поезд делает в Ушумуне трехминутную остановку. Наш, шедший вне расписания, стоял минут двадцать, все хотели и успели размяться, закупить соленых огурцов и кислой капусты у бабок в толстых платках, понабежавших к путешествующим пассажирам, дабы с обменом произведенного скудного продукта на скудную денежку продлить свое нищее захолустное существование, а поболтать с бабками за жизнь или просто благотворительно поддержать их небольшими финансами входило в перечень занятий путе-



шествующих. Те останутся, а эти, слава Богу, пообщавшись с народом и добыв очередной классической закуски для очередной классической выпивки, поедут дальше, ближе и ближе к дому, туда, где их настоящая жизнь, а это всего лишь эпизод, потому в охотку, и забудут они в ближайшем будущем и этих бабок, с их искательным, недоверчивым и обвыкшимся ко всему взглядом, и эту местность, а представить, что твоя настоящая жизнь – ихняя, то и твой собственный взгляд навсегда поменяет выражение.

Одна бабка привлекла отдельно мое внимание. Не сама бабка, а бабкины руки. Без перчаток, красные, кожа сморщенная, загрубевшая, как и полагается в ее возрасте и социальном положении, однако пальцы такой совершенной формы, что странно было для старухи, длинные и, я бы даже сказал, изящные. Я купил у нее четыре горячих картофелины, и пока она передавала мне кулечек, а потом рылась в кармане поношенного зимнего пальто, чтобы найти сдачу с моих пятидесяти рублей, я все смотрел на ее длинные пальцы и узкую ладонь. И лицо у нее было узкое, с правильными чертами и высоким, хоть уже и сильно немолодым лбом. Что-то она мычала себе под нос. Прислушавшись, я скорее догадался, чем понял, что она напевает старую большевистскую песенку *Штормовые ночи Спасска, Волочаевские дни...*

– Как звать вас, бабушка? – неожиданно для себя спросил я.

– Мария Николаевна, – не стала чиниться она.

– А фамилия у вас какая? – задал я еще более неуместный вопрос.

– А фамилия Волконская, – последовал ответ.

– Вы что же, из известных Волконских будете? – глупая ирония неконтролируемо окрасила мою интонацию.

– Да не буду, а была уже, – ничуть не смешалась старуха. – Тут, в Сибири, разные ветки ветвились, одное обрубили, другожды не отрубили.

– Сдачи не надо, – так же глупо бросил я.

– Надо, – усмехнулась старуха и протянула три десятки, зажатые между длинным средним и длинным указательным пальцами.

Жест был непрост.

Я взял.

Ступив на площадку тамбура, оглянулся.

Старухи на платформе убрали товар в давно отжившие свое клеенчатые сумки. Прямо позади Марии Николаевны Волконской похожая на белую моль девица по-прежнему просила Дессанжа создать ей настроение.

Было впору к ней присоединиться.

Физика этой земли насквозь была пронизана метафизикой. Все здесь переплелось, как переплетаются земляные корни могучих деревьев: география с историей, верх с низом, родовитость с безродностью, образование с невежеством, вера с безверием, убожество с роскошеством, грязь с чистой, обман с честностью, искренность с лицемерием, совесть

с бессовестностью, простодушие с изворотливостью, глубина с поверхностностью, мужество с трусостью, доброта с жестокостью, подозрительность с наивностью, здоровье с болезнью, мастерство с халтурой, удача с неудачей, умные с дураками. Все на пике противоречий в разных углах общезнания, в разном образе жизни, в разных натурах, а то и, случалось, все в одном. Но это уж такой *коктейль Молотова*, что Боже ты мой!

Бережно стучали колеса на стыках рельсов, рессоры нового поколения обеспечивали бережность, а все равно вспоминалась байка про колесный стук, будто и впрямь *пи эр в квадрате*, описывающий окружность, содержал в себе квадрат.

Проводник Саша, вышколенный или сам по себе утонченный, похожий в своей безукоризненно белой рубашке с черным галстуком на стюарда, капитана и наследного принца одновременно, читающий во всякую свободную минуту *Опыты* Монтеня, постучал: вам ничего не нужно? Мне ничего не было нужно.

Сидя у окна, уставившись в быстро темнеющие за ним виды, боролся я с самим собой, как бывало это в ранней молодости и притупилось с возрастом. Мировая печаль с русской печалью слившись, слипшись воедино, свалились на меня, как тяжелый чемодан сваливается из сетки, и придавили неслабо. Я чувствовал себя Онегиным, Печориным, Рудиным, Обломовым, князем Андреем попеременно и вместе. Прелестные образы русской литературы именно что пре-

лыщали, никаким не объяснением, нет, колдовским касанием к глубоко спрятанному, как спрятаны в этой земле руды и алмазы. И этим не кончилось. Этим началось. Век сменился нечувствительно, от Бродского перешло к Солженицыну, а там и до Пелевина с Улицкой рукой подать. Интересно, думал я, отчего в позапрошлом столетии прельстительны образы, а в только что минувшем и во вновь наступившем – авторы без образов, то есть безобразные авторы?

Не хозяин я был воображению своему.

Я надвинул на лоб шляпу и закрыл глаза. Пусть сосед, когда появится, думает, что человек задремал. Я снимал свою черную шляпу, лишь выключив освещение и растянувшись на удобной, не в пример стандартным, полутораспальной вагонной полке, которую и полкой язык не поворачивался поименовать из-за сугубой комфортности. Можно бы подумать, что я лыс или кому-то подражаю. Но я не лыс и никому не подражаю. Разрешили бы – я бы натянул на голову камуфляжную маску с прорезью для глаз. Кто разрешил? Шутка. Они тут то и знай натягивали. Во всех сериалах, во всех новостных программах. Напротив меня на стене располагалась цифровая панель, я включал ее и поглядывал изредка, как всегда делал, наезжая в Москву. Включал телевизор – включало тебя. Но Москва – не Россия. Эта поездка отличалась от всего, что происходило раньше. Получив – предложение? совет? завет? – проехаться по России, я и не подозревал, какой выброс гормонов ждет меня.

*Только волей пославшего мя...*

– Вы спите? – прозвенел голосок-колокольчик.

Не было нужды открывать глаз, чтоб узнать, кому он принадлежит. Человеку с музыкальным слухом, как у меня, легко определить звучание в оркестре альты или скрипки, валторны или кларнета. Несколько дней пути ознакомили меня со всей вагонной партитурой.

Небольшого росточка, широконая в плечах, талии и бедрах, она была бы похожа на подростка, если б не значительная грудь, туго натягивавшая не одну трикотажную майку, а и телогрейку с надписью *Русский вагон* тоже. Еще она напоминала отчасти комод, но это был до чрезвычайности симпатичный комодик.

– Я не сплю, Маня.

– Тогда откройте глаза.

– Зачем? Я вас и так чувствую.

– Я хотела с вами посидеть, но если вы...

– Что если я?

– Если вы предпочитаете меня чувствовать, а не видеть...

Значит она покинула купе вкупе с оставшимся там Пенкиным.

Я открыл глаза:

– Сядьте. Вы покраснели и сейчас убежите, а я хочу того же самого.

Маня была в привычной майке, на ногах привычные белые кроссовки, на щеках вспыхнувший румянец. Он вспы-

хивал частенько. Ее тонкая свежая кожа была подвержена румянцу, как бывает подвержено ему яблоко, получающее свой цвет непосредственно от солнца. Из всех эпитетов, сочиненных мною про нее – про себя, – больше всех подходил: *солнечная*. Аппетитная ямочка на подбородке, губки бантиком, зубки чистый рафинад, короткий прямой нос, неожиданно вздернутый на кончике, высокие скулы, длинная рыжая челка до омутных зеленых глаз, рыжий цвет такой интенсивности, о каком говорят: поднеси спичку – загорится. Она вся светилась, и я любовался ею скрытно, из-под полей шляпы, как любят ребенка. Да она и была им. Лет ей от рождения стукнуло то ли девятнадцать, то ли двадцать.

– Чтобы вы посидели рядом со мной, – закончил я предыдущую мысль.

– Что? – переспросила рассеянно Маня.

– Я сказал, что хочу, чтобы вы посидели возле, – повторил я.

Упрямая девчонка села не возле, а напротив, в кожаное кресло, уперлась кроссовками в край и прижала колени к подбородку, спрятав таким образом выдающиеся груди и вовсе превращаясь в подростка.

– Хотите картошки? – спросил я. – У меня есть горячая. И красное вино.

– Под горячую картошку идет водочка, а не вино, – со знанием дела проговорила Маня и опять заалела.

– Водки у меня нет, – честно признался я.

– У нас есть, – расщедрилась она. – Я принесу.

Расставила руки, как крылья, сделала *ж-ж-ж* и полетела, как маленький самолетик, комод-самолет, только я ее и видел, столько в ней было горячего.

Я успел прикрыть глаза до прибытия соседа.

Я делил купе с известным московским журналистом Пенкиным. Он был уже мертвецки пьян, что было заметно по исключительной прямизне позвоночника, заданной механистичности движений и криво сфокусированному взгляду из-под круглых старомодных очочков – последний писк московской моды.

– Есть выпить? – спросил Пенкин, умудряясь грохнуться в мягкое кресло, как в жесткое, складно складываясь в нем всеми своими несоразмерными членами.

– Есть красное вино, – отозвался я.

– Какое? – спросил Пенкин.

– *Ахашени*, – назвал я.

— О! – с уважением поднял палец вверх Пенкин. – Кому нужен этот морс! А покрепче?

– Покрепче нету, – признался я.

– Слушайте, – придвинулся ко мне вместе с креслом Пенкин. – Вы голубой?

– Нет. А что? Почему вы решили?

– Пьете вино, а водки нет.

– А у вас есть?

– У меня тоже нет.

– Стало быть, вы тоже голубой?

– Уважаю логику, – поднял вверх указательный палец Пенкин. – Я все выпил, и теперь до следующей остановки в большом городе. А вы не выпивали. Я наблюдал за вами.

– Профессионал.

– Вы?

– Вы.

– В смысле выпивки?

– В смысле наблюдения.

– Это правда. Разбуди меня на рассвете, о моя терпеливая мать, после самой эксклюзивной поддачи, я, как стеклышко, пойду в бой и победу. Побежду. Побежду.

– Сейчас придет Маня, – сообщил я Пенкину. – Вы не могли бы пойти поспрашивать водки у других коллег?

– Не мог, – вздохнул Пенкин. – Мог бы только лечь и умереть. То есть уснуть мертвым сном. Если вас это устроит. Но перед смертью я про-де... про-де... про-де-кларирую... то есть продемо... ну, неважно... свою логику. Значит, Маня, оставив нас с Ваней, отправилась к вам. Мы выпили всю водку, и я пошел по каютам интересоваться еще, у кого есть. Маня попалась мне по дороге. Если она собиралась к вам вернуться, значит пошла за чем-то. Один вариант – пописать. Другой – за бутылкой. Но бутылки больше нет. На что вам Маня? – неожиданно закончил он свою речь вопросом.

– Именно так вы проводите ваши расследования? – спросил я, в свою очередь.



– Угадали, умник.

Явное пренебрежение, с каким Пенкин относился к своей известности, уравновешивалось тайным тщеславием, так же, как семитские черты физиономии и фигуры уравновешивались антисемитскими. Узкие плечи, выпирающие ключицы и небольшой мешок живота, круглые выпуклые глаза и впалые щеки, нос репой и шишковатый лоб, растительность на голове, еще недавно густая, как щетка, внезапно начала катастрофически редеть. За время пути мелких знаний о нем набралось с достатком, люди охотно сплетничают о себе подобных, и не всегда из злонамеренности, а *так*. Народ знал героя, поскольку, помимо работы в скандальной газете, он вел маленькую злую программку на ТВ, где разоблачал всех и вся, беря деньги за услугу, что покажет клиента на экране, и за услугу, что не покажет. В правой шишке лба у него содержались правые взгляды, в левой – левые. В письменных и устных выступлениях все мешалось в клубок: либеральное, демократическое, социалистическое, державное. Его книга *Тайный советник президента* прошумела, как шумит жестяным звуком оливковая ветвь под напором ветра. Ветер составляли мнения. Пылкие, восхищенные, раздраженные, уничижительные, обескураживающие. В своем сочинении Пенкин расследовал тайны режима в оригинальной форме любовных записок президенту. Пенкина возносили и Пенкина уничтожали. Зависело от тусовок, где преобладали те или иные юристы, экономисты, журналисты, по-

литологи, политехнологи, обслуживающие власть и оппозиционные к ней. У Пенкина хватало цинизма радоваться ругани больше, чем похвале. Оливки в этом контексте также не сбоку припека. Оливковая ветвь мира была тайным посланием Пенкина адресату. Тексты, издевательские по тону, на самом деле содержали глубоко скрытую мольбу обратить внимание на государственный ум корреспондента, не оставившего камня на камне от строящейся начальством башни и в то же время сведущего в том, как уложить камни правильно, то есть призыв использовать пенкинской гос. ум в гос. нуждах. Вольтер и Екатерина – модель, страстно влекшая Пенкина, на это он готов был голову положить, но только войти в историю.

Кабы не пьянка.

Началось еще в пору его жизни в балете. Мальчик-ростовчанин был балетоман. Прекрасное едва не убило его. От ножки, битой другой быстрой ножкой, мужской ли, женской, без разницы, он едва не терял сознание, настолько тонка была его душевная структура. Мама станет звонить из Ростова в Москву: Пенкин, ты ведь и не ешь, небось? У них в семье завклубом и завскладом звали друг друга по фамилиям. Так же происходило в общей семье народов. Разумеется, если речь шла о значащих персонажах: Ленин, Сталин, Гамзатов, Айтматов. Завклубом, завскладом и их ребенок значили друг для друга. С незапамятных времен Одесса-мама и Ростов-папа поставляли интересный человеческий матери-

ал в столицу. Постановки Одессы кончились примерно на Жванецком. Постановки Ростова – на Пенкине. Он, и правда, в столице почти не ел, тратя все деньги на билеты в Большой. Трепещущий, сидел с потными ладонями, отбивая их по окончании спектакля в нескончаемых овациях. Быстро разобрался в балетных партиях, как на сцене, так и за сценой, примкнул к одной, затем к противоположной, хватило дерзости и способностей выступить в печати, сделал себе небольшое имя, после побольше, после еще побольше. Каботинская среда требовала малой толики алкоголя. Начав с малой, перешел к немалой. Поточив перо, принялся выпускать самиздатский балетный журнал, написанный двумя перьями, его и еще одного его друга. Подвергся преследованиям. Заложил друга. Тот спасся от репрессий тем, что погиб, попав под машину. Этот выкрутился, *закрутив фуэте* не хуже признанных солистов Большого. Но попить стал серьезнее. Остыл в области балета, разгорячился в области политики. Сделал другой самиздатский общественно-политический журнал, вдвоем с другим другом. История повторилась один к одному: небольшие репрессии – сдача друга – новое восхождение. Похоже, было не выбраться из *фуэте*, крученных судьбой. А что такое судьба? Характер. Поражало, что репутация инакомыслящего при этом худо-бедно сохранялась. Некие слухи ходили, да мало ли что где ходит. Чай, не гений, который якобы несовместим со злодейством, всего лишь талант. А талант, как показывает жизненный опыт, совместим с чем

удочно. Какие-то чистюли все же им брезговали, однако помалкивали.

На подходе была либеральная эпоха. За ней последовала антилиберальная. Пенкин и там, и там был свой.

Пьянка, в которой он отводил все более и более неудовлетворенную душу, все более и более разрушала его ординарные способности. Он сознавал, что разрушается. Два спринтера мчались в нем наперегонки, и неизвестно было, кто быстрее достигнет цели: неумное ли честолюбие или алкоголь.

Маня задерживалась.

Моя способность к экстраполяции помалкивала, вызвать искусственно ее я не мог, но я и без нее уже все, что нужно, о Пенкине знал.

– Я прочел вашу книгу, – сказал я.

– Да что вы! – насмешливо восхитился Пенкин. – И что скажете?

– Предпочитаете лесть или честность? – поинтересовался я.

– Валяйте, – высокомерно дал он мне карт-бланш.

Ну я и навалял.

– Знаете, в чем разница между русскими и американцами? – спросил я

– Ну-ну! – подбодрил он меня по-прежнему свысока.

– Мы во всем подобны, и только одна-единственная разница: нам легче всего сказать правду, а вам солгать. Иногда

вы простодушны и лжете, как дети, без всякого личного интереса, но иногда коварны и лжете из неутоляемой личной корысти.

Ирония сползла с его лица, как разбитые яйца, изготовившись в яичницу, сползают со сковородки, обнажая металл.

– Оставим общие места, – очевидно сосредоточился он. – Насколько я понял, ты обвиняешь меня в том, что я умственная проститутка...

Я не успел похвалить его за сообразительность, как он ударил меня в грудную клетку левой. Что он был левша, я знал. Хорошо, что левша, иначе удар пришелся бы не в правую, а в левую часть груди, а у меня последние дни пошаливало сердце, и, видимо, по этой причине я был не совсем собран. Я не ожидал, что пьяный так быстро восстанет из мягкого кресла и сгруппируется, и не успел сгруппироваться сам. Следующий удар я получил по физиономии. Но и он получил такой же. Мы схватились в полуобъятии, и я первым вмазал ему коленом промеж ног, как учат во всех школах выживания. Он взвыл. Круглые очочки свалились с мясистого носа, я не совсем преднамеренно раздавил их каблуком ботинка.

– Вы с ума сошли! – прозвенел голосок-колокольчик.

Симпатичный комодик храбро втиснулся третьим лишним между двумя мебельями. Не драться же с девушкой под рукой. Остывая, мы плюхнулись, он в кресло, я к себе на полку.

– Что случилось? – строго потребовала объяснения Маня.

– Русско-американский коллоквиум, – дал я требуемое объяснение.

Я обратил внимание, что она пришла с пустыми руками. А между тем, был тот редкий случай, когда я бы охотно сделал хороший глоток крепкого спиртного.

– Я тебе этого не забуду, – пообещал Пенкин, закрепляя дружеское *ты*.

Он с трудом поднялся и великодушно оставил нас с Маней вдвоем.

– Так что у вас случилось? – не удовлетворилась моим объяснением милая молодая женщина, сопровождая потерпевшего бойца взглядом, исполненным соболезнования.

– Дискуссия, я же сказал.

– А тема?

– Творчество господина Пенкина.

– Нашли, о чем дискутировать, – вздохнула Маня. – Здесь нельзя ни с кем ни о чем подобном и заикнуться. Иначе к концу поездки будет сплошная инвалидная команда.

– Вы не шли, а время шло, – пожаловался я.

– Я искала водку, – попыталась оправдаться она. – Ту, что была у нас, Пенкин с Ваней вылакали. В общем, все, чем затарились в Белогорске, вагон заглотнул.

– А до того, чем затарились во Владивостоке, Хабаровске, Облучье!..

– Что делать, рашен привычка! – засмеялась Маня.

– Рашен вопрос! – подхватил я. – И картошка остыла...

– А давайте, я вам холодной картошки к фингалу приложу! – предложила Маня.

Я чувствовал, как наливается фингал, но не ведал, что для облегчения участи можно использовать холодную картошку.

– Я и сам кудесник, а такого рецепта не знал, – признался я.

– У меня бабка так делала, – поделилась прошлым Маня.

– Деда целила?

– Меня. До чего ж я драчливая была в детстве!

Прохладные пальчики коснулись моей щеки.

– Я готов быть битым каждый день, если вы будете меня целить, – галантно произнес я.

– Фи, как старомодно, – поморщилась Маня.

– Вы предпочитаете новую моду в отношениях? – осведомился я.

– Если честно, – Маня тряхнула челкой, – я предпочитаю смесь и свободный выбор, чтобы ни ограждений, ни правил, ни колючей проволоки, а легко и играючи, печально и весело, чтобы кустом росло во все стороны, а не вычислялось по линейке, чтобы путаница-перепутаница, и чтобы ямщик лихой, лихая тройка, и над розовым морем чтоб вставала луна, а в воде холодела бутылка вина, и вдаль чтобы и ввысь, и босиком в теплой летней дорожной пыли, и чтобы луг, и жара, и бух в озеро, русалкой в воде и под водой, хотя какая из меня русалка, такая толстуха...

Ее нахмуренное личико было совсем рядом с моим. Не почему-либо, а потому, что она старательно прикладывала к моей битой физиономии холодную картошку и хмурилась от своей старательности.

Я взял ее пальчики в свои, картофель отвалился сам собой, и почти отечески поцеловал прямо в губы.

Я не собирался этого делать. У меня и дальнего расчета на это не было, не то, что ближнего. Я привык осторожничать с женщинами, тем более столь юными. Так вышло. Невозможно было не развязать своим ртом бантик ее рта, не попробовать кончиком языка сладкий рафинад ее зубов, когда они были совсем рядом с моими. Я просто не сдержался.

– Я бы дала вам пощечину, но вы уже получили свое сегодня, – проговорила Маня, с трудом от меня оторвавшись.

В который раз я оценил ее чувство юмора.

– Перейдем на *ты*, – предложил я шутливо. – После того, что случилось между нами... С Пенкиным мы перешли.

Комодик выдвинулся в коридор и исчез из поля зрения.

Оставшись один, я рассмеялся. Говорят, что мужчины не любят ушами. Они любят глазами. Я был и то, и другое. Неловко сказано, да и про любовь заявлено смело, но пусть уж останется как есть.

Собрав с пола рассыпчатую картошку, я ни с того, ни с сего сунул ее в рот.

Накатило с маху и, как всегда, без предупреждения.

То, что я называл экстраполяцией, не было никаким



не умственным актом, а чем-то вроде внезапного внутреннего преобразования. Интуиция ли срабатывала, род воображения или перевоплощения, не знаю. Подобная резкая смена кадра случалась со мной нечасто, но не столь уж и редко, а я все не научился приуготовляться к ней. Голова у меня закружилась, следовало напрячься, чтобы овладеть собой, да в том и штука, что то было не в моей власти. Как в калейдоскопе, складывались стекляшки, голубые, белые, красные, только не цветок выходил, а замороженные картинки, похожие на исцарапанный целлулоид старого кино, где голубая мерзлая поленица дров в полуразрушенном сарае, мимо которого медленно плыл наш поезд, превращалась в очертания заиндевелых, смерзшихся человеческих тел, с натекшими когда-то и превратившимися в лед лужицами крови, буденовки на них указывали на принадлежность к красным, а в следующем сарае, набитом такой же голубой поленицей дров-трупов, фуражки с околышами выдавали белых, и мать моя лежала на печи, из которой сто лет назад выдуло остатки жара, выношенное до дыр одеяло сползло с нее наполовину, бесстыдно оголив голубые ноги, и она не поправляла, потому что была уже неживая и не заботилась о том, чтобы мы, дети, не видели ее исхудалых голубых ног, похожих на палки, тем более, что и дети были неживые, и шли другие поезда, везя окровавленных раненных в тыл, где было хуже фронта, потому что фронт хоть как-то обеспечивали кормежкой, а тыл нет, тыл сам должен был помогать фронту, где за Ро-

дину и за Сталина смертью храбрых пали на поле боя сотни тысяч живых людей, превратившись в сотни тысяч мертвых трупов, и Маня Волконская, Мария Николаевна, что ребенком, что подростком, в толк не могла взять, от кого и как родятся в СССР дети, когда народ в массе своей погиб, когда и украденный с полей страны хлебный колосок не мог спасти, потому что вместо зерна поля были засеяны мертвецами, и так и шло, сперва понавыпадало прабабкам и бабкам, а после подступилось к наследникам и наследницам всего, чем наследила русская история.

Свойство, каким я был наделен, или состояние, в какое входил бессознательно, даровано мне было даром. Уминая картошку с пола, я был нелогично сначала дитем, а потом братиком Мани Волконской там, где в холодной избе выскребали оловянной ложкой остатки каши из оловянной миски, хлебали из нее же пустой суп, а пролив по неуклюжести или слабости рук, отсасывали с липкой клеенки до последнего взасоса. Разница заключалась в том, что вековая грязь с клеенки не отмывалась, а пол в вагоне, покрытый качественным ламинатом, мыли с шампунем дважды в сутки, так что мы с моей Маней были в фактической безопасности, а Маня Волконская и я лизали заразу, и, если не заболевали смертельно, то исключительно из-за привычки к заразе и грязи, хотя другие-то братья и сестры перемерли.

К слову, моя Маня – выражение фигуральное.

Моей она не была и не могла быть.

Она была Ваниной.

Напевая новорожденной Мане Волконской вместо колыбельной песню *Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни*, ее мать, а наша бабка вспоминала, как она, голоштанная беднота, захудалый род, боком из ссыльных декабристов, отбывавших срок в Читинском остроге, выходила замуж за подобного себе, из захудалых ссыльных, проживая в отдельной Дальневосточной Республике, со столицей сперва в Чите, потом в Верхнеудинске, будучи всей душой против братьев Меркуловых, ставленников враждебной Японии, как заклеят их *Большая Советская энциклопедия*, крупных буржуазных собственников и спекулянтов, перехвативших власть у большевиков и образовавших Временное Приамурское правительство, зато всей душой за большевиков, когда те выковыряли Меркуловых из правительственных кресел, а сами в них уселись по новой. Большевики писали на кумачовых лозунгах близкое: про хлеб, про землю и фабрики, которые отныне будут в ведении народа, про сытую жизнь, которая вот-вот нагрянет, и бабка, дурочка, с такими же длинными пальцами и узким лицом, как у Мани, поверила и родила, помимо Мани, еще пятерых, и все пятеро, включая меня, последыша, перемерли, а за малыми перемерли большие, знакомые и незнакомые, ни земли, ни хлеба так и не дождавшись, и бабка тоже померла, оставив Маню в сиротах. Власть, однако, о Мане позаботилась. Как и о других трудящихся ДВР. По их просьбе ДВР присоединили к СССР, Ма-

ню наладили на учебу швеей-мотористкой, определив в общежитие, и во всю жизнь она не проронила ни слезинки, сколько бы бед на ее долю ни выпало, и выжила лишь потому, что, невзирая на все пляски смерти вокруг да около, из последних сил училась и научилась выживать. Русские женщины, спаси их, Господь, и помилуй!

*Штормовые ночи Спасска, Волочаевские дни.*

У нас в маршруте были и Чита, и Верхнеудинск, переименованный в Улан-Удэ, и еще около полутора сотен городов и городков заснеженной России, и названия их волновали меня до одури.

Я включил программу *Google earth*, на которой земной шарик смотрелся, как мячик, кликнул несколько раз *мышью* – *мысью по древу*, – мячик быстро рос и приближался, многократное увеличение показывало континенты и страны, и среди них распятую медвежью шкуру России, прошитую ниткой знаменитого Транссиба, Транссибирской магистрали, скрепляющей Европу с Азией, девять тысяч двести восемьдесят девять километров железной дороги.

Поезд, каким ехал я вместе с моими попутчиками, не был обыкновенным, в каких ездят женатые и холостяки, отставные полковники и капитаны, мелкие коммерсанты и обремененные семейством разведенки либо вдовы. Хотя маршрут был проложен не нами, мы впадали в него, как колесо впадает в колею, как металл – в изложницы, как люди – в судьбы, как литературные и исторические факты – в сочинения автора, но еще более – Автора.

Владивосток – Угольная – Уссурийск – Озерная Падь – Сибирцево – Мучная – Спасск-Дальний – Шмаковка – Ружино – Дальнереченск 1 – Губерово – Лучегорск – Бикин – Вяземская – Хабаровск 1 – Хабаровск – Ин – Биробиджан – Бира – Теплое Озеро – Биракан – Известковая – Облучье – Кундур-Хабаровский – Архара – Буряя – Завитая – Екатеринославка – Поздеевка – Возжаевка – Белогорск – Серы-

шево – Свободный — Ледяная – Шимановская – Ушумун –  
Тыгда – Магдагачи – Талдан – Сковородино – Уруша – Еро-  
фей Павлович – Амазар – Могоча – Ксеньевская – Зило-  
во – Жирекен – Чернышевск-Забайкальск – Куэнга – При-  
исковая – Шилка Пасс. – Солнцевая – Карымская – Чита  
2 – Чита – Хилок – Бада – Петровский Завод – Горхон –  
Заиграево – Улан-Удэ Пасс. – Улан-Удэ – Селенга – Тим-  
люй – Мысовая – Байкальск – Слюдянка 1 – Иркутск Пасс. –  
Иркутск – Иркутск Сорт. – Ангарск – Усолье-Сибирское –  
Черемхово – Залари – Зима – Куйтун – Тулун – Нижне-  
удинск – Алзамай – Тайшет – Юрты – Решоты – Ингаш-  
ская – Иланская – Канск-Енисейский – Заозерная – Уяр –  
Красноярск Пасс. – Красноярск – Ачинск 1 – Боготол – Тя-  
жин – Мариинск – Анжерская – Тайга – Юрга 1 – Юрга –  
Болотная – Новосибирск-Главный – Новосибирск – Чулым-  
ская – Каргат – Бар абинск – Озеро-Карачинское – Чаны –  
Татарская – Омск – Называевская – Мангут – Маслянская –  
Ишим – Ялуторовск – Тюмень – Талица – Камышлов – Бог-  
данович – Свердловск Пасс. – Первоуральск – Шали – Кун-  
гур – Пермь – Верещагино – Кез – Балезино – Глазов – Зу-  
евка – Киров Пасс. – Котельнич 1 – Свеча – Шабалино – Го-  
стовская – Поназырево – Якшанга – Шарья – Мантурово –  
Нея – Николо-Полома – Антропово – Галич – Судиславль –  
Кострома Новая – Нерехта – Бурмакино – Ярославль Пасс. –  
Ярославль – Ростов-Ярославский – Москва – Москва Яро-  
славская.

Не пропустите ни одной станции, раз уж вы едете со мной. Вчитайтесь, вникните в имя каждой, не откажите себе в удовольствии поиграть не только целыми словами, но и отдельными слогами, и даже буквами, поперекачивайте во рту, чтобы ощутить их соединения, их музыкальный строй, почувствуйте, как от европейских к азиатским, от русских к нерусским и потом обратно от нерусских к русским наименованиям шло, катилось, спотыкалось, падало и поднималось, кровило и зализывало кровавые раны широко забирающее вчерашнее, чтобы стать завтрашним; как не отвязывалось оно, скажем, от слога Бир, что означало татаро-монгольскую поголовную подать, дублем повторяясь в Биробиджане и Бирокане; как запомнило Ерофея Павловича, крестьянина по фамилии Хабаров, добытчика и прибыльщика, устроившего в XV11 веке соляную варницу и мельницу, с которых якутский воевода поначалу брал вдвое больше оговоренного оброка, а засим и все отнял, а мужика посадил в острог, и так повторялось в мужичьей жизни не единожды, а все одно каждый раз мужик выходил победителем над барином, пока не затерялся в сибирских просторах, а память о себе оставил в веках; как от Облучья то ль облучком, то ль лучом дотягивалось до Заиграева, а, поиграв им, зажигало Свечу, натываясь на Якшангу чуть не в рифму уже проеханной Куэнге, пересекало философски означенную местность Нея, отдыхая на чисто славянских Галиче с Судиславлем, чтобы через Кострому, Нерехту и Ярославль прибыть в столицу необъятной

родины Москву, которая знать не хотела, на самом-то деле, необъятной родины.

Володеть хотела, а знать — нет.

Мы знать хотели.

Проект принадлежал Адову.

Мы пригласивали с Адовым по телефону и вживую в те разы, когда приходилось мне бывать в Москве по делам сотрудничества с некоторыми фондами и компаниями.

Он был не Адов, он был Кольт. Отец его, кинорежиссер, взял в пятидесятые псевдоним, чтобы не звучать по-еврейски, тогда всем известным евреям рекомендовано было не звучать по-еврейски и чтобы брали псевдонимы. Кольт не был еврей, он был по происхождению англичанин, но это никого не колыхало, поскольку звучало по-еврейски. Адов звучало тоже плохо, поскольку адресовало к религиозным пережиткам прошлого, поповскому обману и опиуму для народа в насквозь атеистическом государственном новоделе. Со стороны Кольта это был такой английский юмор, бравада, тайная издевка, на какую пошел с абсолютно серьезным видом, как и полагается британцу. Вглядываясь в эту его серьезную светловолосую и голубоглазую внешность и не имея формальных поводов отказать, паспортные власти записали его по высказанному им пожеланию Адовым. Дальнейшие дети и внуки Кольта носили псевдоним как фамилию, а настоящей фамилии никто больше и не помнил.

Кроме меня. Я помнил все, зная Адова-сына не пер-



вый год.

Сердце Адова, инициативного телевизионщика, перевлюбившегося во всех сколько-нибудь хорошеньких женщин Москвы, успокоилось на красивой и талантливой Сельяниновой, тоже телевизионщице, и они вдвоем, будто дружно на друга и не глядя, но глядя в одном направлении параллельным курсом, что есть истинная любовь, то и дело придумывали что-нибудь вне ряда, но придумать – не фишка, фишка в том, что они и воплощали придуманное немедленно. Производственные репортажи Адова смотрелись как экономические детективы. Документальные фильмы Сельяниновой отличались от массы серого телевизионного *продукта* соединением высокой эстетики и смысла. Оба любили забраться в глубинку. Оба любили народ. Не спешите высмеять меня за мою кондовость – хорошее, кстати, русское словечко. Я мог бы расписать мысль и как-нибудь поинтереснее, но мне пришло в голову, что в предлагаемое время в предлагаемых обстоятельствах нет ничего интереснее просто и ясно выраженной честной мысли. У вас и кризис-то, господа, протекает острее из-за отсутствия просто и ясно выраженной честной мысли – вот вам мой на скорую руку краткий диагноз.

Я валялся на удобной постели, время от времени взглядывая на тонированное зеркальное стекло, в котором отражалась пролетающая за окном жизнь, а также лик *господи-*

*на средней руки, как выразился русский классик, ибо равно чудны стекла, отражающие солнца и передающие движения незамеченных насекомых, по слову того же классика.*

Из пересечения Адова с производителями железнодорожного транспорта, а именно вагонов, все и образовалось. Кризис, прости, Господи, стукнув по башке, запустив часть иных процессов взамен тех, к каким худо-бедно привыкли, там перераспределив, здесь отняв, заставив если не вскрывать вены, то шевелить мозгами, отечественным производителям дал шанс. Не всем. Тем, что сумели соорудить нечто пристойное. Вагонщики сумели. По первому образованию я инженер-путеец (civil engineering), так что материя мне близкая.

Снаружи, если смотреть в формате *Google earth*, новый поезд походил на акулу, с ее зализанными, текучими формами. Или ужа. Подобно акуле, он не ехал, а плавно тек-перетекал, подобно ужу – извивался на поворотах. Только раскрашен был диковинный зверь не по-зверски, а по-человечески. Три цвета времени, ярко-красный, ярко-синий и ярко-белый, волнообразно и продуманно утолщаясь и утончаясь, бросали вызов пространству. Натуральный белый, по идее, должен был слиться с белизной чистого снега. Синева, пожалуй, могла бы отзываться небесной, если небо чисто. Красный ничему не соответствовал, кроме крови, а она, пока не прольется, течет в жилах скрытно. В соседстве с ненатуральным красным белый и синий почему-то также теря-

ли свою натуральность, переходя в разряд ненатурального. То была движущаяся инсталляция. То был хепенинг. Концептуальный постмодерн то был. Производители как подлинники художники-концептуалисты, играя красками, имели в виду свою художественную цель. Художественно-патриотическую, если точно. Волнующаяся и волнующая боевая раскраска двигательного средства повторяла знамя. Поезд, можно сказать, нес себя по просторам России в виде железного знамени России, как бы трепетавшего на ветру, создаваемом движением. Для Запада подобные *ужасы* и *акулы* не в новинку, Россия, стуча всеми сочленениями на переходах-перекатах, то есть на стыках истории, только-только приступила к освоению плавных форм, плавного хода и больших скоростей. И тотчас принялась хвастать, что переплюнула Запад. Честно сказать, такого уж решительного переплевка я как специалист не обнаружил. Но публика в поезде и на станциях излучала рассчитанный энтузиазм.

Публику и остальное придумал Адов. Производителям, разумеется, понадобился PR. Плоский *ни ар*, или *ни эр*, не мог заинтересовать фонтанирующего Адова. И он вдохновенно сочинил путешествие *Москва-Владивосток-Москва*, пригласив пишущую и снимающую братию с тем, чтобы братия не просто вульгарно отрекламировала новые вагоны, а, оторвавшись от московского паркета, заглянула бы по дороге в глубинку, куда сто лет не заглядывала и где могла бы поднабраться новых впечатлений для обогащения творческого

репертуара. С этой целью по всему пути разослали пресс-релизы на имя глав администраций. От глав требовалось обеспечить не какого-нибудь местного зеваку и бездельника, готового глазеть на что угодно, а отечественного предпринимателя, каков он есть на сегодняшний день. Таким образом, предполагал Адов, проект *Русский вагон*, будучи, с одной стороны, рекламной поездкой, с другой, окажется содержательным путешествием, наподобие радищевского *из Петербурга в Москву*.

Тем приятнее, что проект халявный.

Нарисовалась, правда, одна *единая* партия, пожелавшая взять мероприятие под партийный контроль. Но тут уж Адов стеной встал и притязания отверг. Как ему удалось – другой вопрос.

Ничего удивительного, что едва руководители медиа и бизнеса сошлись, стакнулись, стукнули по рукам во вдохновенном свободном полете мысли, публика набежала тотчас и с перебором. Интеллигенции навалом, местов на всех не хватило, как говорилось в одном советском анекдоте. Кому-то пришлось отказать. Отказники злобствовали и заранее старательно чернили мероприятие, подсчитывая, как водится, чужие деньги в чужих карманах. В испытательный рейс запросились политологи с политтехнологами, обслуживающие Кремль. Им надо было что-то предлагать тем, кого они обслуживали, а что предлагать в новых условиях, они не знали, потому что не знали условий. Они давно жевали одну

жвачку на всех, различаясь в незначущих деталях, и боялись, что их прогонят. Проект *Русский вагон* пришелся как нельзя кстати. Их Адов взял. *Не на облаке живем*, пояснил он мне.

Наблюдая поезд в формате *Google earth* снаружи, я обжигал его изнутри.

Внутри было так же плавно и текуче. Все формы закруглены, сглажены, стекла овальных окон-иллюминаторов безупречно чисты, коридор широк, как в гостинице, светлое дерево дверей и стен гармонировало со светлой ламинатной половой доской, все лакированное-никелированное, с иголочки, каждая деталь блестела и сияла. Так же блестело и сияло в поместительном купе, две полки, одна над другой, с удобной вмонтированной лестничкой, овальное зеркало на двери рифмовалось с окном, ручки едва ли не благородного металла, столик того же светлого дерева с синими крахмальными салфетками на нем, высокого качества синее постельное белье, вчера все было красное, позавчера белое, про безукоризненный пол я уж говорил. Два кожаных кресла предлагали расслабиться сидя, если вы устали расслабляться лежа, в стену встроена плазменная панель телевизора, там же дверь, ведущая в душевую, оборудованную по последнему слову сантехники, как в лучших отелях мира, с двумя белоснежными халатами на вешалках, со стопкой белоснежных махровых полотенец на стеклянном табурете. Хотелось сидеть и лежать, принимать душ и включать телевизор. Хотелось тут жить. Могут, если захотят, пришло мне в голову

распространенное местное выражение. Интересно, за какой срок все закакают — следующее, столь же распространенное.

В купе постучали.

— Можно?

Адов с Сельяниновой стояли на пороге.

— Вы заняты?

— Ничего срочного, заходите, рад вам.

Адов вкатился, Сельянинова просочилась.

Адов, с разбросанными там и сям жировыми прослойками, несоразмерными его росту, держал, как всегда, голову набок, привычно сложив на выдающемся животе крепенькие ручки, сцепленные последними фалангами пальцев, иначе не зацеплялись. Шкиперская седая бородка очень шла его обветренному лицу, внушительному носу и голубеньким, в отца, глазкам. Начиная любую речь и тотчас увлекаясь, он как бы слегка всхлипывал, в этих его всхлипах таилась переполненность жизнью, которой он щедро и доброжелательно делился с другими. При сомнительных внешних данных он был наделен несомненным обаянием, отчего его долго и со вкусом любили женщины. Высокая, вся какая-то прозрачная, в золотистом облаке массы кудрявых волос, Сельянинова затмила всех. Прелестное лицо обидно портили красные пятна по обе стороны острого, тонко вырезанного носика, но я знал, что так было не всегда.

— — Я вас ждал, — сказал я.

Сельянинова чуть удивленно вскинула на меня прозрач-

ные глаза в густых еловых ресницах.

– Садитесь, – предложил я.

– Вы, правда, врач? – спросила Сельянинова, с мальчишеской грацией подталкивая мужа вперед, чтобы прошел и занял кресло у окна, а сама садясь в кресло у двери.

У двери темнее, и пятна менее заметны.

– В том числе, – кивнул я.

– Но вы дипломированный врач? – настаивала она.

– Селя-я-ночка!.. – с укором протянул Адов.

– А-а-дик! – протянула Сельянинова.

Он звал ее Селяночка, она его – Адик.

В их семье роли распределялись наоборот, если сравнивать с другими семьями. Живчик, несмотря на полноту, Адик легко увлекался, был по-детски доверчив, мгновенно вспыхивал и столь же мгновенно гас, если не был поддержан сообщниками, сожителями, согражданами, но уж если поддержан, тут его было не остановить. Комплекция предполагает. Считается, что основательным сангвиникам, в противовес костлявым меланхоликам, даровано позитивное восприятие мира и себя в нем. Так оно и происходило, пока Адик был по макушку погружен в работу. Выходя из творческого транса, он немедля впадал в творческий кризис, Господи, прости! Он мог часами лежать на диване, отвернувшись к стене, прекрасная Селяночка, всегда на страже, подступалась к нему, опускалась на колени возле и начинала убеждать

его в его таланте, он рыдал, что бездарен, что лучше сдохнуть, чем продолжать бездарное существование, в промежутках между рыданиями тщательно ловя тон возражений Селяночки, не ослабел ли, не лишился ли прежней энергии. У Селяночки находились силы возражать ему всякий раз, как в первый, с тем же невозмутимым убеждением. Она хорошо изучила своего Адика и знала, что если его не остановить на первой стадии, он впадет во вторую, а то и в третью, вытягивать из каждой последующей было трудней, чем из предыдущей. Потому она старалась приступить к делу сразу и на полную катушку. Иной раз ей удавалось перехватывать развитие депрессии, работавшей по той же схеме, что все природные явления. Поняв, что это природно, она никогда на Адика не сердилась. Едва близился финал проекта, покупала авиабилеты, делала визы и увозила его либо в Турцию, либо в Египет, либо в Италию или даже в Японию. Признаки грозowych туч небесная корова как языком слизывала, Адик превращался в совершенное дитя, радуясь новым впечатлениям, радуясь жизни, радуясь своей Селяночке, выигранной у жизни в лотерею.

Три года, как нежное лицо ее покрылось проклятыми пятнами. Я услышал об этом между делом от Адова, позволившего мне в Монпелье, где я обретался последнее время. Адов и соблазнил меня этой поездкой, согласовав приглашение с верхами, на которые имел выход. Сделать это было нетрудно. Мое реноме, в общем, было известно. Мои рус-



ские проекты загибались, в конце концов, не по моей вине. Мое глубоко прячущееся честолюбие, носившее маску неприязнательности, плюс, быть может, еще более глубокие чувства, настолько глубокие, что я в них себе не признавался, манили меня в Россию. А по Адову я почти соскучился. Я поставил единственным условием присоединиться к ним не в Москве, а во Владивостоке, то есть на обратном пути. Я должен был закончить кое-какие дела в Америке, прежде чем вылететь в Россию. Как хочешь, добродушно бросил Адов, твоя воля.

Воля была не моя. И это было еще одно обстоятельство, по которым я сюда рванул.

Кто-то, читая мои мысли, мог бы покрутить пальцем у виска. Не мне крутить пальцем у своего виска.

В моем городке Монпелье, штат Вермонт, я взял *rent-car*, оставив свою машину дома, чтобы не бросать ее в аэропорту в Бостоне надолго, доехал до международного терминала *Логан*, занял место в самолете компании *Дельта*, летевшем рейсом на Солт-Лейк-Сити, штат Юта, оттуда в Анкоридж, штат Аляска, пересел там на рейс *Аляска Эйрлайнз*, следующий во Владивосток, с посадкой в Магадане, во Владивостоке на железнодорожном вокзале назначена была встреча с Адовым.

Ирония судьбы заключалась в том, что я повторял маршрут своего выдающегося предшественника. Для каких целей

понадобился великой пересмешнице этот дубль? Я отдавал себе отчет в том, что по сравнению с большим *слоном* я – маленькая белая собачка, которую Крылов назвал *моська*, но в мои намерения ничуть и не входило облаивать *слона*. Я был малое существо, получившее возможность неким волшебным образом *прислониться* к большому, чтобы обозреть вслед за ним, по возможности, животный мир в его нынешнем состоянии. Естественно, это всего лишь метафора, однако образ белой собачки, всплывая от времени до времени, странно тревожил. Моего великого земляка – хоть по одной земле, хоть по другой – манили протяженные, длительно звучащие закономерности, то есть общее, меня – частное. В некоей точке сходились. Манили живые души, если без метафор, а попросту.

Магадан, столица Колымского края, как физическая и метафизическая местность, вызывал наибольший азарт.

Перед тем, как зайти Адову и Сельяниной, я вытащил из Интернета данные о численности тамошних заключенных, разнесенные по датам, начиная с 1932-го и кончая 1953-м.

12.1932 – 11 100.

01.01.1934 – 29 659.

01.01.1935 – 36 313.

01.01.1936 – 48 740.

01.01.1937 – 70 414.

01.01.1938 – 90 741.

01.01.1939 – 138 170.

01.07.1940 – 190 309.

01.01.1941 – 187 976.

01.01.1942 – 177 775.

01.01.1943 – 107 775.

01.01.1944 – 84 716.

01.01.1945 – 93 542.

01.01.1946 – 73 060.

01.01.1947 – 93 322.

01.01.1948 – 106 893.

01.01.1949 – 108 685.

01.01.1950 – 153 317.

01.01.1951 – 182 958.

01.01.1952 – 199 726.

01.01.1953 – 175 078.

Известно, расправа с одним человеком – трагедия, с тысячами – статистика.

Статистика СВИТЛа, Единого Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря, пробрала меня, как мороз пробирает, до костей.

Магадан – побратим Анкориджа, между прочим. Аляска ведь была русской. А Анадырь, через который я однажды летел, – побратим Бетла. Тоже Аляска. На территории американской Аляски я воспользовался сверкающим чистой туалетом, ну воспользовался и воспользовался, ничего не колыхнуло, чего колыхать бесчисленному числу по-

добных по всем Штатам. На территории русской Чукотки, в ремонтируемом Анадырском аэропорту, оскользаясь и падая, танцуя неверными ногами на ледяных торосах, натасканных ветром, пробираясь вслед за служащим порта в деревянный домик с деревянным *очком*, я вдруг остановился и застыл: слабое ребячье воспоминание, не знаю, о чем, внезапно пробило, как пробивает кабель, и сноп электрических искр брызнул во все стороны – эффект умственной электро-сварки.

Я взял такси, назвав водителю план: Охотское море – Тайская губа – бухта Нагаево. Водитель, невозмутимый и почти неподвижный, уткнулся в ворот каляной брезентовой куртки и не отреагировал. Таксисты, чаще всего, люди разговорчивые. Этот молчал всю дорогу. Пытаясь втянуть мужика в беседу, я сообщил, что приехал взглянуть на колымские лагеря или на то, что от них осталось. Он будто не слышал, не отвечал, глядя прямо перед собой, ко мне не поворачивался, лица его я так и не рассмотрел. На каком-то километре дороги он притормозил и махнул рукой в сторону. Я проследил направление жеста, однако ничего похожего на лагерь не обнаружил. Стояли жилые постройки, деревянные и каменные, крашенные желтенькой краской, какой выкрашено пол-России, давно и сильно облупившейся, детишки в зимних пальто с хлястиками и в нахлобученных на головенки шапках-ушанках, игрались с консервной банкой как с футбольным мячом, что-то неразборчивое снова тронуло нер-

вишки, как смычок трогает струны, тетки воевали с бельем, вставшим колом на морозе, преобразившись из пошивочного материала в строительный, подобие гипсокартона, лишь кое-где из-под снега торчали куски ржавой колючки. Пейзаж был точно таким, каким застал его Туманов, возвращавшийся в эти места взглянуть на свое зэковское прошлое, а прошлого не было. Хорошо это или дурно, не мне судить.

Таксист, которого я уже почитал за глухонемого, внезапно бросил отрывисто, по-прежнему не глядя на меня: хотите, отвезу на сопку Крутую, там *Маска скорби*. Хочу, сказал я, припоминая все, связанное с Неизвестным.

Сопка Крутая оказалась совсем не крутая, а довольно плоская. Поименовавшие ее то ли пошутили, то ли возвысили окружающий пейзаж, чтобы возвысить себя. Дорога к сопке вела мимо гаражей, складов, свалок, присыпанных снегом, сквозь который пробивались какие-то железные прутья, бутылки, куски пластика и прочий житейский мусор.

Пятнадцатиметровое лицо-маска из тесанного серого бетона, показавшись, едва ли не испугало. Теперь оно близилось, вырастая из груды камней, – метафорический человек либо человечество, из одной глазницы которого вытекали слезы, они же – более мелкие маски-лица, вторая глазница являла собой окно, забранное решеткой. Машина остановилась на автостоянке, я двинулся к памятнику пешком. Бетонная лестница с металлическими поручнями вела наверх. Другая, узкая и тоже бетонная, вниз. Я пошел по ней. У вхо-

да в помещение на гвозде висела рваная телогрейка, еще какое-то тряпье, дальше камера, нары, стол с керосиновой лампой, зарешеченное окошко. На улице яркий день, здесь тьма, которую пробивал только пыльный луч солнца. Я – не слишком трепетное животное, но тут тяжелое, каменное одиночество навалилось на меня, грозя раздавить. Всеми своими красными и белыми шариками я ощутил, что такое *узилище*. Тошнотворный тухлый запах вызывал рвотный рефлекс. Запах проникал через мои ноздри прямо в легкие, заставляя не просто откашливаться, а выхаркивать какую-то мерзкую слизь, усугубляя и без того тягостное положение, в каком я добровольно очутился. Добровольно ли – была одна моя мысль. Так пахнет несвобода – другая. Когда глаза мои привыкли к темноте, я различил кучки по углам камеры. То были полужасохшие фекалии. Люди приходили сюда испражняться. Это было похуже, чем гадить в подъезде, что бывало в этой несчастной стране совсем недавно, и вот, похоже, еще и продолжает бытовать.

Я поспешил закончить мою экскурсию и выбраться наружу. Вокруг были разбросаны камни с религиозными знаками разных верований, на бетонных брусках высечены прозвища лагерей: Ленковый, Широкий, Борискин, Спокойный, Прожарка.

У Неизвестного родители были репрессированы. Но почему *маска*? На маскараде человек выдает себя за другого. Люди скрывают лицо, желая спрятать под маской, какие они на-

стоящие. Или под шляпой. Шляпа честнее. Маска лукавее. Маска скорби – значит не настоящая скорбь? А что? Притворство? Вы этого хотели, Неизвестный?

Два художественных символа – *поезд-знамя* и *маска скорби* – два прямо противоположных художественных высказывания.

Фронтальная надпись на отдельно стоящей стеле гласила: *построен на средства президента России Б. Н. Ельцина*. Крупными каменными буквами. Ниже перечисление организаций, поторопившихся вслед за президентом вложить средства в памятник. Тоже крупными буквами. Как будто это самое важное. Людское тщеславие часто смешно, иногда – неприятно.

Я сел в машину и сказал водителю: в аэропорт.

Минут через пять он проговорил:

– Сколько денег угрохали, сволочи, лучше б людям роздали.

*Людям* он ударил на последнем слоге. *Роздали* – на первом.

Перед входом в здание аэропорта машина остановилась, я достал бумажник. Я отлично знал, как расплачиваются в новой России, и, помимо карты *Master Visa*, прихватил с собой некоторое количество долларов *кэшем*. Водила повернулся ко мне, внимательно следя за тем, как я перебираю банкноты в бумажнике. В сгущающихся сумерках я, наконец, увидел его физиономию с несообразными, будто наспех набросан-

ными деталями: набрякшие веки, кривой рубильник, костистый подбородок, крепко сжатый безгубый рот и кожа в угрях – физиономия вырожденца. Он был не стар и не молод, что-то между тридцатью и сорока.

– Ну и чё? – спросил он злобно.

– В каком смысле? – Я еще отсчитывал деньги.

– Проехался, и чё?

– Ничё, – пожал я плечами.

– То и оно, что ничё... – Он выругался матом. – Тебе ничё, позырил, и хвост трубой, а мы коротай свой век на чужих костях, а чё души их мертвые по ночам волками воют, а мы вой слушай и сами вой, ничё ж не поменялось...

Еще на сопке я заметил, что шашечек на машине не было, и теперь сказал примирительно:

– Ну как же ничё, жить-то, небось, получше стало, особенно, как на себя, а не на дядю начал работать...

– Получше на том свете будет, – не принял он моего мирного тона.

– Где же, если там мертвые души волками воют, – поймал я его на противоречии.

– Дак загубленные воют, може, устанете губить, одна надежда на вашу, душегубов, усталость...

Он равнял меня с душегубами. Возможно, он был не так уж неправ.

– Сидел? – спросил я.

– Сидел, – зыркнул он маленькими, злыми, как у медведя,



глазками. – Это вы там, на материке, дела делаете, а на нас дела как заводили, так и заводят...

– На безвинных? – Я спрятал бумажник.

– Разных, – отрезал он и выдал то, что я его не просил: – Я-то сразу понял, что у тебя полно баксов, всю дорогу мучился, стоит или нет... твоё счастье, что решил: не стоит.

– Или твоё, – веско уронил я.

Я дал ему десять бумажек по двадцать долларов, это было более, чем щедро.

Он не сказал ни спасибо, ничего, рванул и исчез.

Я полез в кейс и, добыв оттуда мои гомеопатические корочки, протянул их Сельяниновой. Она отвела мои руки, даже не взглянув на них.

– Будем откровенны... – начал Адов.

– Естественно... – ободрил я его.

– Стало быть, речь о моем лице... – взяла инициативу в свои руки Сельянинова.

– Я в курсе... – мягко прервал я ее.

– Я в курсе, что вы в курсе. Что дальше?..

Тема Сельяниновой всплыла в нашей необязательной болтовне с Маней, когда мы перемывали косточки всей честной компании. Маня делилась информацией, я шутиливо комментировал. Она смеялась каждой моей шутке. Про политолога Молоткова и политтехнолога Молодцова едва я успел сказать, что вылитые Бобчинский с Добчинским, как девуш-

ка зашлась в смехе. Я не приписывал себе излишних достоинств, понимая, что юное создание находится в том возрасте, когда покажи палец – и человеку уже смешно. Я лишь слегка посожалел о своем возрасте: половой инстинкт, который никуда не деть, попер из моих лет туда, где пребывали Манины. Глупо, что и говорить. Это стоило мне того, что я тут же сбился с ритма: про Сельянинову пошутил крайне неловко, сострив что-то насчет *цветущей водоросли*, имея в виду прозрачность и упустив из виду цветение пятен.

Маня встала, смех ее иссяк.

– Не понял, – сделал я вид, что не понял, понимая, что сделал только хуже.

– Некрасиво, – съежила мордочку Маня, как-то сразу подурнев.

Надо было срочно искать выход из положения.

– Я помогу ей, – сказал я.

– То есть? – распахнула Маня свои зеленые.

– Я уберу эти пятна на ее щеках, – пообещал я.

– Как?! – Маня распахнула их еще шире.

– Разве я не говорил, что я кудесник?

Я был серьезен, как никогда.

– Можно сказать ей? – Маня все еще не доверяла мне.

– Можно, – разрешил я.

Мы разошлись в тот раз мирно.

Аппарат Фолля, моя аптечка – все необходимое было

при мне.

– А я и не знал, что ты лекарь.

Адов внимательно наблюдал за моими манипуляциями.

– А разве мы уже все-все сказали друг другу? – шутливо проговорил я и, обратившись к Сельяниновой, попросил: – Снимите, пожалуйста, колготки.

– Но тогда мне придется стянуть джинсы, – обратилась она к Адову, а не ко мне.

– Значит стянешь джинсы, – по-королевски распорядился Адов.

Она стянула одно и другое молниеносно, оставшись в хорошеньких, телесного цвета, трусиках, почти совпадавших с цветом тела, отчего ее стройные ноги открылись во всей красе, что вызвало мою неконтролируемую реакцию, впрочем, секундную.

– Мне выйти? – спросил Адов.

– Не обязательно.

– Выйди.

Взаимоисключающие реплики прозвучали почти одновременно, Адов предпочел послушаться жены, нежели приятеля.

Мы остались с девушкой наедине.

Я надел резиновые перчатки и установил ее правую ногу на металлическую дощечку, сперва прикрыв металл бумажной салфеткой в гигиенических целях, в правую руку вложил металлическую гильзу, взял наконечник, соединенный

проводочками с аппаратом, включил аппарат и принялся нажимать наконечником нужные точки на пальцах ноги, между пальцами и на боковой поверхности стопы. Движение стрелки прибора, сопровождаемое слабым звуком, показывало напряжение. Так проверялось состояние меридианов тела, а через них – органических функций.

Сельянинова была практически здорова. Барахлили надпочечники. Но это я знал и без Фолля. Для порядка я проделал ту же процедуру с пальцами и ладонью правой руки, переложив гильзу в левую и ничего нового не обнаружив.

– Что скажете? – спросила Сельянинова, беззащитная в своих телесных трусиках.

– Что скажу... – потянул я. – Будь у меня возможность взять пробы на аллергены...

– Пищевые? Пыль? Шерсть?... – нетерпеливо перебила меня Сельянинова. – У меня брали.

– И результат?

– Хороший результат. Ничего не обнаружили. Никакой аллерген не выявлен.

– Ну, если это считать хорошим... – улыбнулся я.

– Можно одеться? – Она взяла свои вещи и прижала к худенькой груди.

– Да, пожалуйста.

Пока она подтягивала колготки и застегивала джинсы, я думал, как ей сказать то, что я собирался сказать. Спросил, оттягивая момент:

– Давно это у вас?

– Три года.

Она закончила туалет.

– Вы ведь и замужем три года, – посмотрел я ей прямо в глаза.

– Вы хотите сказать... – Ум у нее был такой же острый, как нос.

– Да, именно это я и хочу сказать.

Я выбрал кратчайший путь.

– Я полагаю, что ваш муж – носитель аллергена. Его запах, его пот, его волосы – где-то там оно гнездится. Разумеется, требуется клиническая проверка, но я убежден, что так оно и есть.

– И как же мне быть? – скорее требовательно, чем растерянно, проговорила Сельянинова.

Она принадлежала к тем редким натурам, которые, будучи реально творческими, не занимаются собой. Творцы, чаще всего, сосредоточены на себе. Несение мученического креста облегчается эмоциональным выплеском. Он воплощается в креативе, как нынче говорят. В работе, как говорю я. Сельянинова была начисто лишена эгоцентризма. Ее киношная деятельность поглощала ее целиком, Адов счастливо поместился там же, где помещалось ее всё. Я понимал, что речь идет о тектоническом сдвиге. Но что делать, не я награждал ее аллергией на родного мужа, так случилось. Я лишь исполнял то, что исполнил бы любой врач.

– Как быть? – повторил я. – Лечиться, наверное. Я дам вам пилюли, они помогут. Но нужно удалить источник, который вызывает патологическую реакцию, вырабатывая в организме антитела, иначе все пойдет прахом, бездонную бочку не наполнить.

– Вы хотите сказать...

Прозрачные глаза Сельяниновой сузились, она будто прислушивалась к тому, что совершалось в ней.

– Я дам вам пилюли, – повторил я. – Чтобы они подействовали, как должно, я предлагаю вам попробовать перейти на оставшееся время в другое купе. Или пусть Адов перейдет. Тогда и вы, и я, и он, мы увидим эффект, и не надо будет гадать на кофейной гуще...

– А если вы ошибаетесь? – перебила она меня.

Я промолчал.

Она тоже молчала.

– Хорошо, я позову его, – сказала она через полминуты твердым голосом.

Я готов был поцеловать ей руку. Я испытывал восхищение.

### 3

Железный характер. Железная воля. Железная хватка.  
Железная логика.

Метафора, опирающаяся на тяжелый ковкий металл серебристого цвета. Таков выбор языка.

Железо преобразовывалось в чугун и сталь, которыми гордилась страна Советов.

*...я верю, будет чугуна и стали на душу населения вдвойне, пел уголовник-поэт недавних лет.*

*...выжечь каленым железом, настаивал уголовник-вождь давних лет.*

Железная маска.

Железная дорога.

*Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю, быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою.*

Гремели встречные поезда. Вечером в них горели окна, как и в нашем, лица и фигуры из-за удвоения скоростей были неразличимы, там шла своя жизнь, во всем подобная нашей, но и неведомая нам, обратная нашей, потому что обратным был их путь, им нужно было что-то в тех местах, которые оставляли мы, а нам в тех, что оставляли они, и это хаотическое, хотя в то же время строго организованное движение означало нечто большее, чем простое перемещение людей,

заключенных в построенные ими клетки и капсулы. Каждый в капсуле имел свою прагматическую цель, все вместе мы участвовали в осуществлении цели, нам неведомой.

В проекте *Русский вагон*, строго говоря, был не один вагон. Пять. Не считая локомотива. В первом ехало начальство, включая несколько высокопоставленных чиновников, несколько банкиров и несколько депутатов, среди которых – Чевенгуров, признанный дока по части халявы. Во втором ехали представители завода, инженеры, рабочие-наладчики, те, кто по делу требовался в испытательном рейсе. В третьем – шоу-бизнес. Хитроумный Адов продумал и эту составную ради *картинки* в будущем телефильме. Взвесь существовала, особо не перемешиваясь. Свои общались со своими, в принципе не допуская диффузии. Творческий десант вносил приятную ноту в контакты. Почти домашние выступления на ходу прошли в областных центрах по дороге туда, по дороге обратно главные шоумены типа бесподобного г. Алкина, как он писал себя на афишах, отсыпались, сберегая здоровье, вспомогательный состав, не имея надобности и обычая в сбережении, развратничал по мере возможностей. Имелся вагон-ресторан. Наш, с журналюгами и политологами, замыкал поезд.

В вагоне-ресторане экспедиция завтракала, обедала и ужинала по расписанию – чтобы из одного вагона не столкнулись с другим. Я подозревал еще и то обстоятельство, что кормили нас по-разному. Как-то я пропустил свое время



и пришел на обед позже, когда рассаживалась *элита*. Меня покормили, вежливо посоветовав в другой раз время не пропускать и посадив как-то так, что я оказался за столиком на одного, лицом к кухне, остальные у меня за спиной. Занимая указанный столик, я машинально мазнул взглядом по остальным, заметив коньячок-балычок плюс целый ряд деликатесов, коими наш вагон не баловали. Мне хотелось рассмотреть и первое-второе, но не станешь же выворачивать шею, как какой-нибудь невоспитанный раздолбай типа газетчика Мелентьева, искренне почитавшего себя нутряным талантом, а воспитание – погибелью нутра. Мимо разносили в закрытой супнице первое и на большом противне под фольгой второе. Аппетитно пахло подкопченной бараниной, карри и еще какими-то приправами. Нас кормили курятиной и говяжьими котлетами. Страна переживала кризис, прости, Господи, но, как и полагается, все в стране переживали его по-разному. Мария Николаевна Волконская перебивалась с хлеба на воду, наш вагон-ресторан обходился без видимых трудностей, никто ни с чего никуда не перебивался, ели помногу и, как выяснилось, разнообразно. Журналистскому вагону тоже выделялось спиртное, но не дорогой коньяк, а дешевое вино в обед и водка на ужин. И все равно иногда, особенно если начинали пить с утра, то уж ни на обед, ни на ужин не ходили. Забивались в чье-нибудь купе человек по десять, а если не умещались, скапливались в салон-гостиной, ради устройства которой в вагоне не до-

считывалось пары купе, вместо них вас принимало удобное помещение с толстым ковром под ногами, мягкими диванами и креслами, уютными бра и низкими столиками зеркального стекла на витых чугунных ножках, где возлежали журналы и книги, тотчас сметаемые на пол, когда вместо интеллектуального продукта водружался, понятно, какой, и лился уже безостановочно в тонкие рюмки и бокалы, что брались тут же из резного буфета. Колотилось тонкое стекло без устали. Говорили, что на пути туда натасканный персонал ежедневно молча и вежливо восполнял недостачу. На пути назад терпение поездных иссякало, предупредительность заканчивалась, неудовольствие выражалось все прямее, особенно когда гость блевал непосредственно на мягкую мебель, пушистый ковер или зеркальный столик. Хорошо, эти последние уцелели, хотя пара сколов на зеркальной столешнице при какой-то инспекции была обнаружена. Взамен разбитых тонких рюмок в ход пошли граненые стаканы, которые мы сами же и приобрели в Богом забытом привокзальном магазинчике с философской вывеской *Химия, посуда, материя*. Ибо даже и чай погруженный в философию стюард Саша разносил нам не в стаканах, а в тонких фарфоровых чашках на подносе. Что касается закуси, в одних случаях посылали кого-нибудь более или менее трезвого в упомянутый вагон-ресторан, за сухим пайком, то есть что осталось и сколько принесет, пару раз подобным посыльным был я, я не гордился, исполнял, что просили, хотя однажды Маня,

покраснев, велела мне сидеть и отправила за пищей Ваню вместо меня, пробурчав с укором *помоложе не нашли*, в других — от казенной пищи высокомерно отказывались, да она, признаться, и приелась, поскольку уж какие сутки все одно и то же, и полностью переходили на подножный корм, то есть на то, что либо покупали на платформах у Марий Николаев, либо бывали одарены занятыми в бизнесе соотечественниками, принимавшими понаехавших с рассчитанной Адовым провинциальной щедростью.

Я видел, что, несмотря на праздность, которая многих приятно расслабила, а вернее, что из-за ее излишества, моим спутникам порядком надоела железнодорожная ветка как таковая, вместе с крупными центрами, обсевшими ее, точно крупные птицы, да и крупные птицы, принимавшие путешественников в крупных центрах, также приелись. Хорошо погужевавшись на пути туда в Ярославле, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске, Уссурийске и самом Владике, как они панибратски называли Владивосток, по пути назад томились, почти не обнаруживая для себя и в себе ничего нового. Если не считать одного чувства, да и не чувства даже, а тени его, о котором пыталась поведать мне Маня. Рассудком оно было трудно объяснимо, поскольку лежало за его пределами и соотносилось, сдается, не с личным, а с генетическим, не индивидуальным, а родовым. Говорила это Маня синкопами и смутно, переходя с одного на другое, с себя

на других, не понимая ни других, ни себя и вдруг прорываясь к пониманию, – дальнейшее я попробую пересказать сам.

Движение из Москвы во Владивосток и из Владивостока в Москву уподоблялось движению самой крови в кровеносной системе, как она сложилась издревле. В шуме суеты, в инициациях и перформансах разного вида и толка, занятые своей и чужой спесью, путешественники не слышали, да и не могли расслышать в себе этого тока общей крови. А наевшись-нагулявшись, напившись вина и водки, когда, кажется, и делать больше нечего, скука позади и скука впереди, в скуке вдруг и обнаруживали нечто чудное, угловатое, углами беспокоящее, именно на малых станциях внезапно являвшееся, и тогда, отставив переборы-пересмешки, замирали, вглядываясь и вслушиваясь в то, что неназываемо словами и что исподволь таинственными узелками привязывало и к одной на всех местности, и друг к другу. Завороженные, боясь расплескать это нечто, возвращались в вагон, и, глядя в окошки-иллюминаторы, ехали, ехали и ехали, отдаваясь скорости, ибо *какой же русский...* заново или впервые открывая в себе русских людей.

Провинциальная Россия ложилась под колеса, стучали исподнизу не бездушные механические стыки стальных рельсов, а бился такой пульс земляных дней, билось такое сердечко земляное, утишающее, утешающее, убаюкивающее, успокаивающее, как мать успокаивает дитя, и вагонное тепло обволакивало, и ритм выстукивал озабоченно и заботли-

во свою дорожную песнь о том, частью чего мы являемся.

Краснея, сбиваясь и увлекаясь, говорила мне это Маня, с храбростью маленького воина открывая чужому человеку душу, когда мы еще не ссорились, а напротив, едва познакомились, и я сразу почуял в ней ее дар, а она, не признаваясь в том себе, сразу почуяла, что я почуял, и безо всяких объяснений расположилась ко мне, как я расположился к ней, готовый слушать ее всякий раз, как ей хотелось говорить, сближаясь со мной семимильными шагами.

В вагоне-ресторане меня посадили за их с Ваней стол, и первое, что я спросил обоих: что они думают обо всем об этом.

– О чем? – переспросил Ваня, жуя котлету.

– О нашем путешествии, – пояснил я.

– Я в восторге! – перехватила инициативу Маня.

– В восторге от чего? – ласково наставил я очаровательное создание продолжать.

– От всего!

Моя визави чуть не захлебнулась.

– От величия, от широты, от всего, не высосанного из пальца, а взаправдашнего!... Смотрите, Подмоскowie, срединная Россия, Урал, Зауралье, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, то взгорки, то долины, то леса дремучие, то речки подо льдом блестят, я и не думала, что однотонные в общем-то пейзажи могут с такой силой воздействовать на душу, вы в курсе, сколько идет

обычный поезд, семь суток туда и семь обратно, а нам дали их целых двадцать восемь, то есть двойную дозу, чтобы мы могли с головкой погрузиться во все это, все перепробовать на вкус, на цвет и запах, прожить и пережить, почувствовать и перечувствовать, что за земля, и что на ней производят, и что думают, и как выглядят, и отчего страдают ее жильцы и работники, каждый наособицу, толковые, искренние, я таких в Москве и не встречала, а какой разговор, какой словарь, какие интонации, я спать не могу, лежу с тетрадкой и все записываю, записываю, как какой-нибудь летописец се-добородый!..

– Вместо того, чтобы с мужем... с тетрадочкой... и с бородой... – пошутил я, сдается, опять неудачно.

– У вас испорченное воображение, – покраснела Маня.

– У меня сильное воображение, – поправил я.

Ваня продолжал меланхолично жевать котлету, как будто ничего из происходящего его не касалось. Прожевав, однако, проговорил:

– Ты романтик, Маня, население разнообразнее, нежели идиллическая картинка, тобой расписанная. Не говоря уже о баронах.

– О каких баронах? – нахмурилась Маня.

– Баронах отечественного бизнеса, надеюсь, они тебя не обманули.

Бароны отечественного бизнеса, они же бывшие крупные ответработники, возглавлявшие оборонку, космос, тя-

желую металлургию, станкостроительство, так и продолжали их возглавлять, но теперь либо как руководители *госкорпораций*. либо в качестве *физических лиц*. Получив приказ *сверху*, они послушно развозили столичных журналюг по вверенным им предприятиям, послушно демонстрировали образцы продукции, образцы выглядели лучше продукции, послушно называли казенный ряд проблем, никак не сказывавшихся на их уровне жизни, а только на уровне жизни работяг, о чем тактично не упоминалось, послушно устраивали парадный обед, обмениваясь тостами и визитками, которые выбрасывали спустя час или день. Пустое было встречаться с ними.

Я понял Ваню, но решил поддержать Маню:

– Если не в юности быть романтиком, то уж более никогда этого сладостного чувства не испытать.

Ваня вытер пухлый рот бумажной салфеткой.

– Горькое полезнее сладкого.

Они совсем-совсем разные, подумал я вдруг с неясной отрадой.

Меня устраивало расписание обратной дороги. Все совпадало, поскольку и мой интерес лежал именно что в земляных днях земляной России, а не в судьбе более или менее удачливых шишек, что в провинции, что в столице. Страна, сошедшая с катушек, двадцать лет спрашивала, когда будет лучше, не желая знать ответа из анекдота: лучше уже было. Мария Николаевна Волконская как отечественный предприниматель, зарабатывающий на своем малом полустанке

на горячей картошке, была из этой страны. И магаданский таксист, зарабатывающий если не на колесах, то на грабеже, был из нее же. Меня устраивало, что в центрах на обратном пути останавливались коротко, а то и совсем не останавливались, удивляя случайных ротозеев появлением и исчезновением странного поезда, закамуфлированного под летящий флаг России.

Тем непонятнее была объявленная по внутренней трансляции незапланированная трехчасовая стоянка в Чите.

Я отправился к Адову за подробностями.

Подробности заключались в Скунчак. Выяснилось, что запланированную стоянку в Чите на пути из Москвы во Владивосток эта особа, хорошо принявшая накануне, проспала, впад почти что в летаргический сон, а когда ее будили, швырялась сапогами и туфлями, бутылками, альбомами, всем, что попадало под руку, не открывая глаз. Продрав их среди ночи и узнав у напарницы и подруги Очковой, что Читу благополучно миновали, она ринулась в купе Адова и, ворвавшись без стука, закатила грандиозный скандал, требуя чуть ли не повернуть поезд вспять, поскольку ее самым хамским образом фраернули, не дали посетить родину отца, из-за чего она, собственно, и отправилась в поездку, иначе какого рожна ей было терять месяц жизни на общение в поезде с дебилами, каких и в Москве хватает. Отец Скунчак уродился где-то возле Читы, и дочь навоображала себе мемориальное путешествие к пенатам, о чем потом можно будет по-



хвастать в окружении дебилов, которое презирала и без которого ей так и так не жилось.

Адов и Сельянинова спали. Хорошо, что спали в прямом смысле слова, переспав до этого тоже в прямом, но в другом. Сонный Адов пытался сопротивляться, однако Скунчак цепко схватила его за ворот пижамы и, трясая тяжелый куль как тонкую липку, не отпускала, будто он и впрямь обладал возможностью немедленно пустить поезд назад по рельсам. Выручая мужа, разумная Сельянинова нашла выход из положения, пообещав лично посодействовать тому, чтобы на обратном пути специально для Скунчак запланировали повторную остановку в Чите, чтобы ей попасть туда, откуда она, так сказать, началась, если, конечно, она не исполнит тот же номер. Скунчак, пропустив мимо ушей спокойное ехидство Сельяниновой, отпустила воротник Адова и отправилась до-сыпать.

Я увидел впервые расprostертое тело Скунчак на снегу, животом вниз, с широко расставленными ногами, откинутой головой и упертыми в землю локтями, как если б она загорала. Но солнца не было, и она не загорала. Держа аппарат, как автомат, она выстреливала снизу очередями в проходящие человеческие фигуры.

– Кто это? И что она делает? – удивленно спросил я кого-то.

– Как, вы не знаете? – удивился кто-то в ответ. – Снимает.

Это же Скунчак.

— А кто такая Скунчак? — задал я следующий вопрос.

— А вы с Луны свалились? — поинтересовался, в свою очередь, мой собеседник. — Стальная челюсть в газовой косынке.

Стало быть, это и была знаменитая Скунчак, которую я поначалу почему-то не идентифицировал. А мог бы.

Точка съемки снизу была ее фирменным знаком. Она снимала взрослых и детей, мужчин и женщин, депутатов и делегатов, бизнесменов и бизнесвуменов, артистов и писателей, богатых и нищих, исключительно распростершись на полу, на дороге, между креслами, между столами, в любой обстановке, не принимая во внимание ничего из происходящего вокруг. Что ее поза ниц, что она сама были хорошо известны, и потому никто никогда не делал ей замечаний, будь то даже на похоронах. Она являлась, затянутая в черное, крупная, осанистая, с копной черных как смоль волос, мелированных белым, что делало ее похожей на диковинную птицу, на копну водружена маленькая черная шляпка с траурными лентами, траурным подведены узко поставленные птичьи глаза, и со всего размаха бросалась на пол, ничуть не стесняясь производимого ею шума. Расстреляв всю обойму, поднималась, перемещалась и, не отряхнув грязи, хорошо видной на черном, находила место, где упасть по новой и по новой направить свой объектив туда, куда его влекло. Тем более она не отряхивалась, когда надевала цветное,

сколь бы роскошным оно ни было. Цветное и роскошное – был ее стиль. Крепдешины, файдешины, шелк, бархат, зимняя и летняя норка, бриллианты, жемчуга или, на худой конец, стекла Сваровски украшали ее пышное, отовсюду выбивавшееся тело. Время от времени у нее сползала какая-нибудь бретелька в стразах, и тогда кусок плеча и груди выступал во всем своем мясном естестве, на что одни бесстыдно глазели, желая ее всю целиком и сейчас, а другие стыдливо отводили взор, желая того же. Как мужчины, так и женщины. Помимо первых и вторых, имелись третьи, кто готов был ее убить, кто презирал, ревновал, подозревал и одуревал. От демонстрации манер, тела, роскоши. Скунчак не испытывала от того ни тепла, ни холода. Ей не исполнилось и двадцати пяти. Заключив пять или шесть помолвок с дипломатом, иностранцем, банкиром, тенором, разведчиком, с кем-то еще, осуществив шитье свадебного наряда, получив в дар от жениха очередные алмазы, заказав Зимний дворец, Оружейную палату и здание ФСБ на Лубянке в качестве места проведения свадебного торжества, большая уже девочка Скунчак ехала к папе-маме, где, клацая стальной челюстью и утирая слезы газовой косынкой, объявляла о расторжении помолвки, после чего родители давали интервью желтой прессе, заверяя, что ребенку рано замуж.

Прислониться к надежному денежному партнеру – мечта любой современной девицы. Но чем дальше, тем больше выяснялось, что Скунчак – не любая. Собственный,

а не прислоненный образ жизни вырисовывался все отчетливее. Скунчак была индивидуальность, а деньги у нее и так не переводились. Деньги являлись той смягчающей подушкой, что позволяли ей падать на пол, валяться в пыли, направляя на цель дуло своей камеры как дуло автомата Калашникова, прошивая очередью все, что шевелится.

Коротко о ней говорили: сталь и газ. Папа Скунчак был стальным королем, мама Парусова – газовой королевой.

Дочь заявила ко мне в купе со стопкой своих альбомов сама, никто ее не звал.

– Нас не представили друг другу, давайте обойдемся без формальностей, будем проще, – протянула она мне руку.

– Будем, – с охотой пожал я ее.

Работы ее произвели впечатление. Ракурс. Все дело было в ракурсе, который она изобрела, обрела, которым сделалась обуреваема. Ракурс – перспектива, возникающая вследствие неодинакового удаления частей снимаемого предмета от объектива при его направленности на предмет под углом. Съемка снизу рождала монстров, как сон разума рождает чудовищ. Огромные каменные ноги-столбы, ладони-лопаты, удаляющиеся ввысь туловища с последовательным уменьшением грудной клетки, плеч и головы, голова как самая миниатюрная часть тела, малая малость, венчающая свод, – это был портрет человечества, в его развитии и его деградации, в его физической мощи и умственной немощи, его прописанной и предписанной судьбой. Сотни фигур, с известными

и неизвестными лицами, как ни странно, несли в себе что-то детское. Может быть, потому, что игровое. Игра с моделью была не мстительной, не злой, скорее, в ней таилось непреходящее удивление перед формами жизни, тайну которой можно вырвать и представить еще и таким способом. От чего-то было страшно, что-то заставляло улыбнуться или засмеяться, что-то рождало ком в горле. Три гигантских мента трогательно ковыряли ложечками в бумажных стаканчиках с мороженым. Тетка-гора красила готической темно-лиловой помадой, не попадая ничему ни в одежду, ни во внешности, маленький рот на маленькой физиономии. Еврей с остаточной шевелюрой, похожий на Норштейна, а может, сам Норштейн разговаривал по мобильному, задрав подбородок к небу, так что была полная иллюзия, что он и разговаривает с небесами. Сухорукий грузин, похожий на Сталина, но точно не Сталин, грозил сухой рукой небу. Главной чертой облика Пугачихи оказывались не перекрашенные глаза, в обрамлении стога перепутанных волос, похожих на стог сена, а мосластые колени, в которых заключалась крепость, толстые крепостные мослы были ее оружие и защита, а мосолыжники вокруг были подлизы и подьеды, глодавшие остатки. У Пугачихи хватило ума не запрещать этот снимок, а наоборот, всячески его пропагандировать, зная силу открытости своих мослов. Про мосолыжников я вычитал у Дала: чтение словарей – мое любимое занятие.

Скунчак засматривала мне в глаза, ища реакции. Моя

шляпа мешала ей, она схватила ее обеими руками, чтобы сорвать с головы. Барышня была непосредственна в каждом жесте и поступке. Возможно, я видел естественность там, где другие видели хамство и вседозволенность. Но кто смеет сказать, что знает, где граница, когда одно переходит в другое? И что зависит от нашего восприятия фигуранта, а что все-таки от самого фигуранта? Что зависело от позы ниц, в которой Скунчак ловила свои моменты истины? А что — от меня и других, считающих замысел и реагирующих так или иначе на его воплощение? Мне, во всяком случае, была очевидна причина, по которой ее фаны перемежались с ее ненавистниками.

Что можно было точно сказать о ней: чем ниже она падала, тем выше поднималась. Хотя так можно сказать не о ней одной. Но тут это было буквально.

Я сжал ее руки железной хваткой и не дал сорвать с меня шляпу. Она удивилась:

- Вы и железяка!
- Вы даже не представляете, до какой степени.
- А вот это уже интересно.
- Не так интересно, как ваши фотографии.

Все-таки я понимал, ради чего мы с ней здесь вдвоем и что составляет цель ее визита. Не прагматическую, нет, у вольного или невольного художника цель часто бесцельна. Если не считать нужды в признании. Даже у самых-самых признанных. А не считать ее нельзя.

Последняя моя фраза заставила заблестеть ее и без того блестящие черные птичьи глаза.

Она засмеялась счастливо.

В Чите к поезду подали белый *мерседес*. Специально для Скунчак, чтобы быстренько свозить знаменитость на родину отца и обратно. Повсюду ее сопровождала напарница и подруга Очкова, по прозвищу Очковая Змея. Если Скунчак навезла в своем желтом кожаном чемодане пестрых шелков и Сваровски, то гардероб Очковой Змеи, не менее обильный, ударял в нежные палевые тона, из украшений предпочтение отдавалось янтарю и яшме. Они познакомились на тусовке в Английском клубе и тотчас влипли друг в друга, обильная Скунчак и сублильная Очкова. Кто-то тут же прозвал их вогнуто-выпуклой парочкой. Очкова, бывшая солистка какой-то распавшейся группы, писавшая светскую хронику для журналов, умевшая ее писать, имевшая несколько профессиональных секретов, отчего ее тексты выделялись из сонма подобных, очень скоро превратилась в обслугу Скунчак. Так говорили злопыхатели. Лояльные предпочитали говорить о дружбе, упирая на то, что Очкова обслуживает Скунчак ровно в той степени, в какой один друг обслуживает другого и наоборот, а что в подобных отношениях каждый имеет свою выгоду, так это относится ко всем лирическим отношениям, если покопаться. Скунчак была заинтересована в Очковой, а стала заинтересована еще больше,

когда последняя принялась сочинять тексты к снимкам первой. Я успел прочесть в одном из альбомов два – в обоих была изюминка.



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.